

В. А. СОЛЛОГУБ

A decorative horizontal line with ornate, symmetrical flourishes at both ends, resembling stylized scrollwork or calligraphic elements.

ИЗБРАННАЯ
ПРОЗА

Владимир Александрович Соллогуб

Неоконченные повести

«Жизнь моя не может назваться повестью, а разве собранием отдельных не оконченных повестей. Романы мои только заманивали мое сердце и потом вдруг прерывались при самой завязке...»

**Владимир Александрович
Соллогуб
Неоконченные повести[1]**

*Быть так! спасибо и за то.
Баратынский[2]*

Кто знает Ивана Ивановича или, лучше, кто не знает Ивана Ивановича? Его, верно, все видели и привыкли видеть и, вероятно, никому не пришло в голову спросить, кто он такой. Таких людей много. Какое кому дело до человека без связей и без денег? В обществах Иван Иванович, разумеется, не бывает, но на Невском проспекте он гуляет аккуратно от двух до четырех часов, какая бы ни была погода. В театре и в концертах он также лицо неизбежное, отчего он и пользуется в мнении многих не весьма лестною известностью, хотя в самом деле он только страстный любитель музыки. Даже некоторые молодые люди утверждают решительно, что он игрок и притом самый опасный шулер, выжидающий добычи, тогда как бедный мой Иван Иванович отроду не брал и карт в руки. Иван Иванович одет всегда литератором, то есть очень дурно, гуляет в енотовой шубе, носит широкие черные фраки и длинные белые жилеты, и, как видно, мало заботится о своем наружном украшении. Вообще он слывет человеком опасным, потому что хотя ничего не имеет, но ничего не ищет и не просит.

Те же, которые знают его коротко, любят его от всей души, потому что он в самом деле просто добрый человек.

Я с ним иногда встречаюсь, и люблю слушать резкие его суждения о произведениях нашей литературы. Суждений этих я не повторю здесь, чтоб никого не обидеть, но в них, как отгадать не трудно, мало утешительного.

Вообще разговоры наши касаются до жалкого состояния у нас искусства, которое не вкоренилось еще в жизнь народную, не составляет необходимой потребности, а большею частью служит для изворотов жалким барышникам; тогда как истинное дарование, изнывая под бременем ненасытного самолюбия, иногда погибает в тени или спивается с круга.

Иван Иванович судит вообще резко и решительно; со всем тем невозможно назвать его положительным человеком; напротив, когда нет свидетелей и разговор касается до чувства, Иван Иванович изумляет меня тонким разложением малейших сердечных оттенков, и тогда этот человек, по-видимому

бездушный, совершенно преобразовывается: речь его становится свободнее, душа как будто выглядывает из сверкающих глаз, и нетрудно догадаться тогда, глядя на него, что под этой бесчувственной корой бьется сердце, способное к самым глубоким впечатлениям. Но что заставило это сердце сжаться и съежиться под личиной равнодушия? что заставило бедного холостяка вести такую однообразную жизнь и пренебречь глупыми о нем толками? — вот что хотелось мне узнать.

Недавно обедали мы вместе у madame Joseph. Madame Joseph отлично кормит своих приятелей. После обеда мы оба закурили сигарки, и, развалившись на диване, начали разговаривать о том, как молодость утрачивается безвозвратно, оставляя нам лишь одно раскаяние, что мы не умели ею воспользоваться.

— Эта песня давно поется, — сказал Иван Иванович, — и никто от нее не поумнел. И я, как все...

— Кстати, — прервал я, — мне давно хотелось расспросить вас о вашем былом. Знаете ли, теперь, пока мы курим, расскажите-ка

мне повесть вашей жизни.



Иван Иванович немного призадумался.

— Жизнь моя, — отвечал он печально, — не может назваться повестью, а разве собранием отдельных не оконченных повестей.

— Как неоконченных?..

— Именно неоконченных. Не знаю, много ли людей могут похвалиться тем, что светлые случаи их жизни достигли всего своего блеска и потом уже мало-помалу начали скры-

ваться в тумане, бросая еще изредка яркие отблески? Со мною было иначе. Романы мои только заманивали мое сердце и потом вдруг прерывались при самой завязке.

— Отчего же так? — спросил я.

— Отчего? Сам не знаю; от случая, от игры обстоятельств. То светское приличие, то нежданная разлука, то собственная оплошность, то смерть все уничтожающая отдаляли меня навек от светлой цели моих желаний.

Иногда одно слово могло бы мне дать блаженство, но слово это, уже готовое на устах, не выговаривалось, и осеняющее уже меня счастье отлетало навеки. Иногда самые ничтожные случаи, забытый визит, короткая поездка, минутная простуда, вздорный поклон, пустой разговор, взгляд один отдаляли жизнь мою навсегда от радостно принятого направления. Вы скажете, что я сам в том виноват. Может быть; но зато я жестоко был наказан, потому что каждая порванная струна моего сердца болезненно отдавалась в целом существе моем; словом, оно, может быть, глупо, только и грустно тоже. Все повести мои остались без конца.

— Как, неужели ничего от них не сохранилось?

— Сохранилось какое-то странное чувство, неопределенное сознание утраченного счастья, сознание горестное, но и сладкое в то же время, похожее на воспоминание о шутиливом и веселом друге над его могилой.

— Не понимаю, — сказал я вполголоса, хотя, по странному сочувствию с моим собеседником, какая-то невольная тоска начала сжимать мое сердце, — не понимаю, Иван Иванович.

— Как не понимаете? Припомните вашу молодость, тогда не трудно вам будет понять.

— Всего будет лучше, Иван Иванович, если вы расскажете мне повесть... нет, я хотел сказать, начало какой-нибудь повести из вашей жизни.

— Извольте... Только с чего начать?

— Начните сначала.

— Ну, так я начну с моей студентской жизни.

Я немного поморщился. Иван Иванович улыбнулся.

— Вам надоели студентские истории, — за-

метил он. — Будьте покойны: я не намерен обременять вас описанием немецкого студенчества, а только, по желанию вашему, разверну перед вами первую страницу теперь уже оконченной книги моего сердца.

— Я учился в Гейдельберге[3]. В одном доме со мной жили еще двое русских молодых людей, два брата из Харькова. Мы жили дружно, сидели рядом на лекциях и проклинали вместе картофельный суп и черствые котлеты, которыми казнил нас каждый день ничем не умолимый трактирщик. Старшего брата звали Федором. Он был большой оригинал. Играл целый день на скрипке, терпеть не мог надевать калош и три раза в неделю аккуратно бегал на почту узнавать, нет ли для него писем, хотя писем, сказать правду, он не получал никогда. Такая уж у него была привычка. Впрочем, он был малый тихий и смирный. Брат его, Виктор, имел мало с ним сходства. Шум и разгулье были его стихией. Помучить ли толстого ремесленника, ошибиться ли профессора, разбить ли где окна, прокричать ли виват, затеять ли пирушку, рубиться ли, напиться ли, танцевать ли в клу-

бе — Виктор везде был первый; всегда готов, всегда весел. Бывало, голос его раздается во всю площадь и старые студенты весело на него поглядывали, шушукая между собой: «Экой неугомонный!» И молодые девушки приветно ему улыбались, невольно вздыхая о том, что он чаще посещает холостые пирушки, чем их безгрешное общество. Впрочем, оба брата были свойства благородного, не только добрые малые, но добрые люди, и я их любил искренно, тем более, что они были русские и что они, как и я, на самом рассвете жизни были отчуждены от всего им близкого.

Мы жили в смежных комнатах. Как теперь помню, однажды сидел я дома нездоровый и расстроенный. Мне было грустно. На дворе была осень. Небо было серое, ветер выл печально, и мелкий дождик стучал в окна. За дверью сосед мой, Федор, немилосердно играл на скрипке какие-то вариации Майзедера[4]. Никогда не забуду я особенно четвертой вариации, которая, несмотря на все усилия и старания, все выходила как-то весьма неудачно.

Надобно вам знать, что вариации эти я терпеливо слушал каждый день по несколько

часов и уверен, что во всю жизнь свою я не принес дружбе большей жертвы; но на этот раз хандра до того мною овладела, что терпение мое рушилось.

— Федя, — закричал я, — ты верно забыл, что нынче почтовый день.

— В самом деле, — сказал Федя, — как это я забыл?

Почта верно уж пришла.

Скрипка мигом уложилась в футляр, и вот мой Федя в лайковых сапожках, которыми он, между прочим, очень щеголял, быстро бросился из комнаты и пошел себе попрыгивать под дождем по грязи гейдельбергских улиц.

Я остался один, в печальной задумчивости. Мне было грустно, как бывает грустно в двадцать лет, когда сомнение начинает колебать надежду. Я не знал, чего ожидать мне в жизни, и начинал бояться уж того, что не доживу до светлой отрады понятой любви. Тяжело в молодые годы испытать одиночество, в то время, когда всякая привязанность так чиста, так возвышенна и священна. После не то уж: душа как бы стареется вместе с телом и чистый родник наших чувств тускнеет мало-по-

малу от грязного прикосновения жизни.

Через полчаса дверь с шумом распахнулась, и Федор вошел ко мне торжественно, с сияющим лицом. Напрасно старался он скрыть восторг свой под личиной важного равнодушия: я разгадал его мигом.

— Ты получил письмо, — сказал я.

Федор не мог удержать невольной улыбки и с значительным видом человека, озабоченного обширной корреспонденцией, показал мне тоненький пакетец с женским почерком на адресе.

— От кого это?

— От сестры, должно быть.

«Счастливей человек, — подумал я, — у него сестра».

Федя медленно распечатал письмо и начал читать.

Я глядел на него и чистосердечно ему завидовал.

— Который ей год? — спросил я снова.

— Кому?

— Да сестре твоей.

— Семнадцать лет. Не мешай только, пожалуйста, братец, ты ведь видишь, что я за-

НЯТ.

— А что, она хороша собой?

— Ну, хороша. Какое тебе дело? Надоел с вопросами!

— Глаза у нее черные?

— Черные, только отвяжись.

Семнадцать лет и черные глаза. Какой молодой человек устоит против такой очаровательной мысли. Я не вытерпел.

— Федя, что она пишет?

— Ну, так слушай же, — отвечал он с притворной досадой, потому что в самом деле ему очень хотелось похвастать передо мною своей перепиской.

Федя начал читать письмо. Оно было наполнено прелестным вздором. В нем выражались все полудетские впечатления молодой беззаботной девушки. Она была на каком-то бале, кажется, в Москве в Дворянском собрании. Ей было так весело, как она еще и не запомнит.

Платье на ней было розовое и очень к лицу, да и цветы на платье были такие, что лучше ни на ком не было. На все танцы без исключения была она ангажирована, а мазурку

танцевала она с превеселым кавалергардом.

Сказать правду, она тут немного похитрила. Ее уж заранее приглашал богатый помещик Хохлин. Только Хохлин этот такой дерзкий, лицо у него такое гадкое, что она его обманула и сказала ему, что она уж прежде дала слово другому. Разумеется, таким образом поступать не следует, и совесть ее немножко мучила; только виновата ли она, что у Хохлина наружность такая противная? Затем следовало подробное описание московских удовольствий, московских франтов, оригиналов и красавиц. Через несколько недель она снова уезжала с отцом в Харьков, но до того времени много еще предстояло веселья.

Все это на меня сильно подействовало.

Представьте на убогом чердаке двух молодых людей, наклоненных над столиком и с жадностью читающих все мелочные подробности радужной светской жизни.

Странная мысль зашалила у меня в голове.

— Ты будешь отвечать? — спросил я.

— Разумеется, буду, сегодня же.

— Знаешь что, Федя, поклонись сестре от меня.

Федя вытаращил глаза.

— Что ты врешь, братец, с какой стати?

— А с той стати, что я твой товарищ, что мне скучно, что она улыбнется от моего поклона, а мне это будет приятно. Скажи ей, что ты не один скучаешь на чужбине, а что у тебя есть приятель, который скучает с тобой вместе, даже когда ты не играешь вариаций Майзедера.

Скажи ей, что твой товарищ читал ее письмо и от души желает ей еще долго, долго тешииться и розовым платьем и мазуркой с веселым кавалергардом.

Федя был добрый малый. Он меня понял и принялся писать, громко смеясь над своей шалостью. Ответ отправлен.

С тех пор, я вам должен признаться в своей глупости, семнадцатилетняя девушка с черными глазами, в розовом бальном платье, неотлучно рисовалась в моем воображении. Я вглядывался в нее очами души, и тихо ею любовался и говорил ей невыговариваемые речи. Если вы были молоды, вы меня поймете, и поймете тоже, с каким ребяческим волнением и страхом я ожидал моего соседа, когда, по

принятому обыкновению, он бегал на почту узнавать, нет ли для него письма.

Между тем студенческая жизнь шла своим чередом.

Я сделался верным спутником Виктора и с чувством братской дружбы всюду следил за его проказами. Только мало-помалу я заметил в нем странную перемену.

Необузданная его веселость становилась как-то принужденна. Он все еще бил стекла и пил с товарищами, но уж без прежнего разгульного вдохновения. Зато каждый вечер водил он нас к одному серенькому домику с зелеными ставнями. Там, притаившись у забора, когда все безмолвствовало вокруг и добрые немцы спали немецким безмятежным сном, мы начинали петь страстные серенады, и только дрожащий огонек или легкий шорох спущенной занавески обнаруживал нескромно, что наше пение не пропадало даром. Виктор был влюблен. Это не трудно было отгадать, потому что он пел с большим выражением. В сереньком домике жила белокуроенная девушка, с большими голубыми глазами, дочь небогатого помещика.

Как-то встретились они на академическом бале. Знакомство их было самое неромантическое. Он трепетно пригласил ее на английскую кадрили. Она, краснея, согласилась. Он говорил мало и несвязно. Она едва отвечала.

Оба танцевали очень неловко и оба не спали целую ночь. Такова первая любовь. Скоро сделался я наперсником Виктора и, напевая серенады под окнами его Беллы, советовал ему познакомиться с ее отцом. Он долго колебался и не смел решиться на столь отважный подвиг; наконец в один воскресный день трепетно натянул белые перчатки и в черном парадном фраке утром ровно в двенадцать часов отправился с церемонным визитом к доброму толстяку, родителю своей возлюбленной. Там приняли его ласково и накормили весьма плохим обедом. Виктор прибежал домой в полном восторге, и не прошло месяца, как он исчез уж из нашего буйного круга, а сидя смиренно подле голубоокой своей красавицы, намазывал тонкие бутерброды и наигрывал с большим чувством на дребезжащих клавикордах последнюю мысль Вебера[5]. В другое время я бы неумолимо над ним посме-

ялся, но так как я сам не чувствовал себя совершенно безгрешным, в особенности перед ним, то начал чистосердечно принимать участие в его страсти, и долго засиживались мы до полуночи, толкуя о совершенствах его Беллы и о будущих замыслах и надеждах. Главное препятствие его счастью будет отец его, ставящий богатство выше всего; но чего не одолеет сильная страсть и твердая воля? Белла бедна, правда, но зачем богатство, когда есть счастье, и что значат деньги и как жертвовать светлым упоением любви для мелочных условий жизни? Впрочем, я думаю, вы эти детские рассуждения знаете наизусть.

— Увы! — сказал я. — Иван Иванович, теперь у нас и дети так не рассуждают.

Иван Иванович продолжал:

— Наконец вижу я однажды из окна, что Федор бежит по площади и издали машет мне письмом. Сердце мое вздрогнуло, как будто пред каким-нибудь важным событием. Письмо мигом распечатано. Я точно как бы ожидал решения своей судьбы. Молодая девушка бранила своего брата за то, что он показал ее необдуманное маранье, и грозилась не пи-

сать более; однако ж второе письмо было длиннее первого и слог письма был изысканнее и почерк красивее. За поклон мой она была благодарна, жалела о нашей скуке и о том, что ее не было с нами, чтоб развеселить наше одиночество. Меня благодарила она еще за дружбу к ее братьям и желала очень со мной познакомиться, надеясь, что встретимся приятелями. На днях уезжала она снова в Харьков.

В Москве ей было очень весело, только под конец ей надоедал Хохлин, который, как она слышала, человек скупой, злой и гадкий, несмотря уж на то, что дурен как смертный грех. В заключение она снова мне кланялась и просила не оставлять ее любимых братьев. Вы можете себе представить, с каким жаром, с какою радостью я отвечал ей, что поручение ее свято будет исполнено и что, в минутах безотчетной скорби, мысль о ее участии будет моим лучшим утешением. Следствием этого было то, что между братом и сестрой вдруг завязалась жаркая переписка, и Федор мой уже не робким голосом ходил просить у почтмейстера сомнительного письма, а гор-

деливо подняв голову, являлся уж с положительным требованием. Каждый почтовый день приходил он ко мне с драгоценной добычей и, в счастливом расположении духа, беспощадно пилил свою скрипку несколько часов сряду.

Таким образом между мной и неизвестной мне девушкой установилось постепенно какое-то странное, безыменное отношение. В каждом письме брата ее к ней я высказывал ей часть своей души, а она, в ответах, то, как развивающаяся женщина, давала волю своему нежному воображению, то, как балованное дитя, мучила меня шутками, колко издеваясь над моей восторженной речью.

Иногда мы спорили, даже ссорились, будучи различных мнений, но тогда я просил прощения, и меня прощали, признавая, что я прав. Федор смеялся над нашей шалостью, не подозревая, что эта шалость сделалась заботою моей жизни. Тщетно уверяла она меня, что я воображаю ее лучше, чем она в самом деле, что, при свидании с ней, я буду неприятно разочарован — сердце мое привыкло о ней думать. Не знаю, можно ли назвать любовью

го, что я чувствовал, знаю только, что в душе моей не было более пусто; помню только то, что я терпеливо слушал восторженные бредни Виктора и понимал его бессмыслицу.

Виктор тайно мне признался, что он любим. Не знаю, как они объяснились; кажется даже, что они не объяснились вовсе, а так поняли друг друга. Вы знаете, в молодые годы не нужно красноречия: одно слово, один взгляд, одно пожатие руки, одно невольное движение — и тайна сердца обнаружена без опасения и страха, а с одним лишь светлым сознанием долго ожидаемого блаженства. Я радовался счастью Виктора, а сам с трепетом ожидал каждого почтового дня.

Однажды Федор прибежал ко мне с радостным известием. Сестра его объявляла нам, что она отправляется с больной теткой за границу и скоро надеется обнять своих братьев. Тут, по обыкновению, была и для меня приписка, на этот раз только более церемонная, чем прежние, так как она предвещала скорое свидание; но и в этом холодном тоне была для меня какая-то новая особая прелесть. Сношения наши переставали быть шалостью.

Знакомство, давно желанное, должно было скоро осуществиться. Я был счастлив до безумия. Я только и думал, как бы хорошенько ее встретить. Она любит танцевать — мы устроим бал на славу, такой бал, какого в Гейдельберге еще не бывало. Надо было позаботиться о ее квартире. Тетка женщина больная — для нее мы отведем комнату, откуда не слышно будет студентского шума. Племянница ее, верно, любит цветы — мы всю ее комнату украсим цветами, а когда она будет засыпать ночью, мы так согласно и так тихо будем петь наши серенады под ее окном, что, верно, она и вздохнет и улыбнется засыпая... Много наготовил я в голове и славных праздников и страстных стихов для ее приема. Только дни уходили, и опять за ними другие дни... и не было более слуха о вожделенном приезде. Я все еще надеялся, потому что письма прекратились, но надежда моя скоро рушилась.

Однажды Виктор вошел ко мне бледный и расстроенный. Губы его дрожали. Он сел молча на кожаный мой диван и так странно взглянул на меня, что я ужаснулся.

— Не больна ли Белла? — спросил я.

- Нет, здорова.
- Не уехала ли?
- Слава богу, все по-прежнему.
- Так отчего же ты так расстроен?
- Так... ничего... неприятность.
- Какая же?.. Если можно, я помогу тебе.
- Ты не можешь тут помочь. Я завтра еду

в Харьков.

— В Харьков? Зачем?..

— Спасти сестру.

— Сестру спасти... от кого?.. от чего?.. И я поеду с тобой... Скажи только, что случилось. Ведь она должна была приехать сюда с теткой.

— Тетка умерла.

— А сестра твоя?

— Выходит замуж.

— Против воли?

— На, читай, — сказал Виктор и, бросив мне измятое письмо, побежал прощаться с Беллой и провести с ней последний вечер.

«Братья мои (писала бедная девушка), помогите мне.

Спасите меня. В вас единственная моя надежда. Мне рано еще умирать. Мне

жить еще хочется. Я от жизни надеялась так много хорошего — и все так рано должно погибнуть! Я не переживу своего несчастья. Батюшка выдает меня замуж за Хохлина и слушать не хочет отказа. Я плакала у ног его, я просила его не губить дочери — он посмеялся только надо мной. — «Хохлин богат, — говорит он, поживете вместе, привыкнешь, слюбится». — «Батюшка, да я ненавижу его, да он дурной человек. Я чувствую, он убьет меня». Батюшка разгневался. «Твое дело, — закричал он, — слушаться. Я дал слово, а двух слов у меня нет. Сегодня же сговор». Братья! меня помолвили, силою помолвили... Я умоляла Хохлина отказаться от меня, и он только что смеется. Брильянты мне какие-то прислал. Он верить не хочет, что я его ненавижу. Что ж мне делать? Кого просить? Кто заступится за меня?.. Я погибла, погибла, если вы не умолите батюшку. Если вы меня любили, если вы меня любите, не дайте погибнуть вашей сестре».

Как все люди решительные, Виктор не думал долго: на другой день он ехал в Харьков.

Напрасно Федор и я собирались ехать с ним вместе. «Оставайтесь с Беллой, — говорил он. — А на меня положитесь: не выдам сестры; я один слажу с этим человеком. Или я убью его, или он меня убьет, а уж сестра моя не будет за ним».

Со всем тем видно было, что он старался скрыть свою неодолимую тоску. Хотя он и был твердо намерен возвратиться, но все-таки ему невыразимо больно было расстаться с избранной своей невестой. Рано утром мы проводили его до первой станции. Повозка наша промчалась мимо знакомого нам домика. Ставни были затворены. Казалось, что какая-то мертвая тишина в нем водворилась. Виктор все глядел на него пристально, пока он не скрылся из глаз. Тогда заметил я, что Виктор плачет. На станции мы расстались.

Прошло несколько месяцев. Ни от Виктора, ни от сестры его не было известия. Бедный мой Федор аккуратно бегал три раза в неделю на почту, справлялся, нет ли для него писем, и всякий раз тихо возвращался домой, опустив голову и с пустыми руками. Грустно брался он тогда за свою скрипку и начинал

твердить четвертую вариацию Майзедера, но уж не с прежним старанием и рвением, а как-то вяло и рассеянно. И я уже не сердился более на него за его несчастную страсть к музыке, а терпеливо прислушивался к диким звукам его скрипки, которые как-то странно согласовывались с расстроенным положением души моей. Белла долго грустила и уехала с отцом в деревню.

Жизнь моя становилась несносна. И разгулье и ученье — все мне опротивело. Наконец я получил от родителей приказание возвратиться в Петербург. Жаль мне только было расстаться с Федором, жаль даже его скрипки, в которой было для меня что-то родное, а ему так еще было тягостнее расставаться со мною.

В Петербурге, я вам должен признаться чистосердечно, я совершенно рассеялся. Столичная жизнь закидала меня тревожными заботами. Все было для меня ново: и роскошь домов, и любезность дам, и заманчивость театров, и вся светская жизнь, посвященная лишь на удовольствие настоящей минуты. Я, как следует, вступил сперва в службу, потом оделся щеголем и начал любезничать. Я был мо-

лод, хотел нравиться, имел состояние, и потому меня ласково принимали, и я очень тому радовался, не понимая, что с каждым успехом в большом свете я терял немного своей душевной чистоты и непорочности.

Однажды на каком-то бале, где я танцевал с исступлением щеголя, начинающего прославляться, меня поразила вопрос одного из моих новых приятелей.

— Вы, кажется, учились в Гейдельберге?

— Да.

— Скажите, пожалуйста, не был ли у вас там товарищ какой-то Виктор?

— Разумеется, был. Где он теперь?

— Да он в Петербурге.

— Здесь?

— Он живет у меня в доме, там, на самом верху. Он часто про вас спрашивает. Жалкая история. Вообразите, его как-то дорогою опрокинули с повозкою в озеро. Бедняк простудился и теперь лежит у меня в злой чахотке. Оно для меня неприятно потому, что я не люблю покойников. Вы сделаете доброе дело, если его навестите.

На другой день утром я вскарабкался по

узенькой черной лестнице до квартиры Виктора. Я нашел его в маленькой комнате с одним окном, без занавески. Он лежал на бедной кровати и тяжело дышал. Сестра милосердия подавала ему лекарство. Бедный Виктор! Я не узнал его. Где прежняя буйная отвага? Глаза его ввалились и сделались мутны. Лицо было страшно бледно и искажено. Смерть веяла уж над ним и касалась его своими холодными крыльями. При моем появлении, что-то похожее на улыбку промелькнуло на его устах. Он меня узнал и судорожно пожал мне руку.

— Бедная сестра! — сказал он с усилием.

— Тебе кланяется брат твой Федор, — проговорил я горестно.

— Ты видел Беллу?

— Все хорошо по-прежнему. Всё ждет тебя. Выздоровливай только скорее.

Больной перекрестился.

— Теперь все кончено, — прошептал он.

— Не извольте говорить: доктор запретил, — сказала сестра милосердия.

Он взглянул на нее с покорностью и снова пожал мне руку.



Долго, долго сидел я у изголовья его, и с каким-то мрачным любопытством глядел на тяжкую борьбу сильной природы с неумолимым недугом. Наконец мне стало страшно. Я убежал домой, прося, что, если с ним будет хуже, за мной бы тотчас прислали. Ночью меня разбудили. Я наскоро оделся и отправился к

нему. На лестнице мне встретился священник с дарами, который уже выходил от умирающего.

— Ну что? — спросил я трепетно.

— Отходит...

Никогда не забуду этой картины: в комнате было почти совершенно темно. Виктор сидел на креслах, скрестив руки свои на стол, на котором положена была подушка. Голова его качалась, как маятник, сверху вниз, и тяжелое дыхание вытеснялось стонами из груди его. За ним несколько человек, как черные образы, стояли в тени. В комнате все безмолвствовало и только слышно было страшное хрипенье умирающего. И вдруг стало оно еще крепче, еще страшнее. Последняя вспышка жизни потрясла все члены страдальца; потом он начал мало-помалу успокаиваться, промежутки между стонами сделались продолжительнее, стоны начали утихать, утихать, и голова осталась неподвижна на подушке. Все было кончено.

Мы стали на колени и начали молиться.....

Через три дня мы похоронили Виктора на отдаленном кладбище, и так окончилась внешне поэтическая повесть его молодости.

Смерть его сильно на меня подействовала: я сделался вдруг равнодушен ко всему, что прежде мне казалось так заманчиво. Я понял всю суетность жизни и долго не мог постигнуть, как можно чего-нибудь надеяться или желать на земле. И в самом деле, к чему ведут все эти напрасные мучения, которыми затрудняем свой путь, когда мы сами без воли и без силы увлекаемся всесокрушающим потоком? Я стал глядеть на все с холодным отвращением. На всех лицах, веселых и болтливых, я высматривал лишь отпечаток смерти. Красавиц, которые мне очаровательно улыбались, я воображал безобразными остовами, и вся земля казалась мне огромной могилой. Так проходили дни мои. А ночью, когда мучила меня бессонница, мне казалось, что умирающий товарищ сидит у моей кровати, скрестив руки на стол, и медленно качает головой; глаза его мутно на меня устремлялись, и в тусклом их взоре выражалась какая-то бессильная жалоба, какой-то неясный упрек, жи-

во напоминавший мне о жалкой участи сестры его.

Такое положение становилось нестерпимо; я решился рассеяться во что бы то ни стало и просил откомандировки. Мне предложили ехать в Одессу, и я с радостью принял предложение. Дорога была через Харьков.

Я наскоро снарядился в путь, как будто предвидя, что мое присутствие могло кому-нибудь быть нужно. Я думаю, никогда жених, трепетно ожидаемый, не спешит так к своей невесте, как я спешил тогда в Харьков, сам не зная почему. Я не знал, увижу ли я там кого, узнаю ли что близкое к сердцу, а так, скакал себе сломя голову.

Я приехал после обеда. Улицы были уже освещены, а перед одним домом горели даже площадки. Насилу дотащился я до гостиницы — так я был утомлен и разбит дорогой. Вы знаете, что такое русская езда на перекладной телеге. Я бросился на трактирный диван и заснул, как спят после шести бессонных суток. Усталость до того даже мною одолела, что я не успел ничего спросить у трактирного слуги, а упал как мертвый. Я проснулся на дру-

гой день уж в полдень и с удивлением заметил, что кто-то сидел у меня в ногах, ожидая моего пробуждения. Протираю глаза — Федор.

Вы помните Федора, который все ходил на почту и так усердно играл на скрипке. Он был в трауре и сидел повеся голову.

Мы обнялись как братья.

— Я приехал, — сказал он едва внятно, — я приехал звать тебя на бал.

— На бал? Меня... куда?..

— На свадебный бал, — продолжал он. — Вчера была свадьба моей сестры. Что ж делать? Я сам только что приехал. Правда, сестра умаливала, чтоб не было этого бала, да свекор и вся родня взбудоражились. «Свадьба, говорят, так и пир горой». В городе же сейчас узнали, что приехал петербургский кавалер, и меня послали тебя пригласить.

— Хорошо, — сказал я, — отправляйся к сестре твоей и пригласи ее от меня на мазурку. Так как я петербургский кавалер и человек светский, то я непременно хочу для первого моего дебюта в Харькове танцевать с царицей бала.

— Ты видел смерть брата? — спросил пе-

чально Федор.

— О брате твоём жалеть нечего: он умер. Ступай теперь к сестре с моим поручением.

Федор отправился, а я начал готовиться к балу с neodолимым смущением. Наконец я должен был увидеть то воздушное и таинственное существо, которое имело такое странное значение и в моей жизни. Я припомнил все малейшие подробности нашей странной переписки, сперва веселое ребячество ее бальных впечатлений, потом легкие оттенки первой сердечной задумчивости и вдруг пронзительный крик отчаяния. Не видав еще ее, я до того породнился с ее чувствами, что одна мысль о ней сжимала мое сердце, и мне стало так грустно, что я начал готовиться на ее брачный пир, как на похороны.

Ровно в девять часов, одевшись в черное с ног до головы, я отправился. Вся улица была уставлена экипажами. Дом новобрачных сверкал из окон ослепительным светом. Издали слышен уж был гром оркестра. У подъезда толпился народ.

Я вошел, и при самом входе мне встретилось чинное шествие польского. В первой па-

ре шел толстый генерал и вел молодую за руку. Сердце мое ее разом узнало, я едва не вскрикнул. Вообразите себе самое разительное сходство с Виктором и то самое болезненное предсмертное выражение лица, которое произвело на меня столь сильное впечатление накануне его кончины. Как-то странно смешались в голове моей черты бедного товарища с чертами молодой красавицы; мне становилось душно, голова моя кружилась, я стоял как опьянелый, а польский все тянулся передо мной, как будто тени попарно, на которые я смотрел как во сне.

Она также меня узнала. Я это понял с первого взгляда ее. Но сколько было в этом взгляде! И прошедшая радость, и настоящая горе, и сожаление об обманутых надеждах, и покорность неумолимой судьбе. Когда польский кончился, Федор подвел меня к ней и назвал меня по имени.

Она грустно улыбнулась и сказала мне:

— Мы с вами уж знакомы.

Я отвечал:

— Я вам родня, по дружбе с братьями.

— Вы приехали вчера? — спросила она по-

сле короткого молчания.

— Вчера, часов в семь.

Она вздохнула и посмотрела на меня так, что я чуть-чуть с ума не сошел.

— Вчера в семь часов, — сказала она, — меня одевали к венцу.

Я отошел в угол и печально начал любоваться ею. В самом деле она была прекрасна, но какой-то болезненной красотой. В черных глазах ее отражался огонь лихорадки. Лицо ее было матовой белизны, а на голове ее брильянтовая диадема сверкала, как мученический венец. Прошел час времени. Не помню, кто со мной говорил и говорил ли я с кем. Заиграли мазурку. Я снова к ней подошел, придвинул два стула, и мы сели. Разговор наш был сперва несвязен, но мало-помалу он оживился. Я заговорил ей о странной нашей переписке, извинялся в моей смелости, рассказал ей, как мы ожидали ее приезда и с какой жадностью мы читали описание балов, где она танцевала с веселым кавалергардом. Она отвечала мне полушутливо-полупечально, вспоминала все, писанное по моему приказанию, и призналась, что она часто обо мне ду-

мала и что я совершенно таков, как она полагала. Тогда просила она меня рассказать о нашей студенческой жизни, и речь наша невольно коснулась покойного брата ее.

— Вы знаете, — сказала она, — я причиною его смерти.

— Нет, — отвечал я, — так судьба хотела. Во всем есть воля Провидения. Смерть не есть несчастье, напротив, смерть конец несчастью. Поверьте, что мне тяжелее нынче на сердце, посреди нынешнего блеска и веселья, чем в тот мрачный вечер, где бедный мой товарищ умирал на чердаке.

Она еще более побледнела, губы ее задрожали.

— Ради бога, — сказала она шепотом, — не говорите этого, иначе я не выдержу моей пытки.

Федор, сидевший рядом со мной с другой стороны, закрыл лицо руками и, спрятавшись ко мне за спину, заплакал как ребенок.

Мазурка продолжалась. Кавалеры притопывали, дамы, в розовых и голубых платьях, скользили по паркету.

Бал был оживлен и великолепен. Многие

играли в вист, другие смеялись и громко шутили над молодыми.

Вдруг она вскочила со своего стула, быстро отряхнув пышные свои локоны.

— Знаете ли, — сказала она почти с безумным выражением, — забудем настоящее, будем же хоть раз еще молоды вместе. Вообразите себе, что вы молодой человек, я — молодая девушка. Я вам нравлюсь, вы мне нравитесь У нас нет ни забот, ни горя. Мы встретились на бале, которого оба давно ожидали. Мы вместе танцуем. Пойдемте же, нам начинать.

И, с отчаяньем в глазах, она умчала меня в круг танцующих, и долго мы танцевали вместе почти до упаду в неизъяснимом исступлении. Она была хороша какой-то ужасающей красотой. Волосы ее распустились по плечам; румянец заиграл на щеках, глаза засверкали, грудь сильно взволновалась. Видно было, что она все хотела забыть, все соединить в одну упоительную минуту в последнем прощанье с прежней жизнью. И вдруг муж ее, озабоченный свадебным ужином, махнул музыкантам, чтоб они перестали. Тогда она обороти-

лась ко мне, и лицо ее снова помертвело.

— Теперь... — сказала она, — все кончено. Не забывайте меня. Вы, надеюсь, нынче едете.

— Сейчас же, — отвечал я, — сейчас.

Она вздохнула и протянула мне руку, а потом сказала еще:

— Когда не будет меня на свете, помолитесь обо мне.

Из рук ее выпал букет. Я схватил уже увядающие цветы — верное напоминание ее увядающей жизни, и бросился опрометью домой. Нельзя выразить то, что я тогда чувствовал. Я не был влюблен, и любил, однако ж, самой отчаянной, самой безотрадной любовью. Сожаление, досада, ревность, тоска жгли кровью мою. Я не хотел, я не мог оставаться более в Харькове. Возвратившись в лихорадке домой, я разбудил человека, послал тотчас за лошадьми, и через час я скакал по большой дороге, желая как бы ускакать от самого себя.

И с тех пор я не видал ее ни одного раза, а через год с небольшим получил письмо от одного Федора с черной печатью. Сестры его уже не было на свете. Она тихо угасла и приказала отослать ко мне ее последний предсмерт-

ный поклон.

Вы видите, — продолжал печально мой собеседник, — что эта повесть сама по себе ничто — ребяческая переписка, минутное свидание и несколько иссохших цветов.

Стоит ли говорить о том. Роман, едва начатый, оканчивается на первой странице. Но для меня в нем много смысла. В нем первая моя неоконченная повесть, повесть моей молодости, которая долго носила меня по идеальному миру и привела наконец к безотрадной сущности.

Впрочем, и после были еще вспышки поэзии в моей жизни, но они не превращались в светила, а, угасая одна за другой, только дразнили меня своим минутным блеском. Да, точно со мною было еще несколько случаев, за которые сердце мое, жадное любить, зацеплялось с радостью... но, видно, суждено было иначе. И вот что досадно: в каждом из них было бы довольно счастья на всю мою жизнь.

Но счастье, готовое уже осенить меня, отлетало далече, и после узнавал я, но слишком поздно, чего я мог надеяться и что я утратил навсегда. Выслушайте еще одну исто-

рию...

— Нет, Иван Иванович, в другой раз, а нынче извините, нынче Рубини[6] дает концерт, и я опоздать не намерен.

Впрочем, то, что вы говорите, меня не удивляет. Всякая повесть человеческого сердца большею частью не что иное, как повесть неоконченная. Пойдемте-ка вместе в концерт, там мы найдем, может быть, счастливую развязку вечной повести вечно недовольной жизни.

— Где же? — спросил Иван Иванович.

— В чистом, в высоком наслаждении, в святой любви к искусству.

Примечания

Впервые напечатано: «На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни. Сочинение графа В. А. Соллогуба». СПб., 1843, ч. II.

Сюжет рассказа основан на истории дерптского приятеля Соллогуба Н. Ф. Золотарева. (См. В. А. Соллогуб. Воспоминания, с. 264, 268–269.)

[^^^]

Быть так! Спасибо и за то. — Последняя строка стихотворения Е. А. Баратынского «К Амуру» (1827).

*Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!
Быть так! Спасибо и за то.*

[^^^]

Гейдельберг — университетский город в Германии.

[^^^]

Майзедер И. (1789–1863) — австрийский скрипач и композитор.

[^^^]

Вебер К. М. (1786–1826) — выдающийся немецкий композитор-романтик.

[^^^]

Рубини Д. (1794–1854) — итальянский певец, тенор.

[^^^]